

**А.Л. Волынский**

**Достоевский**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
А11

A11 **А.Л. Волынский**  
Достоевский / А.Л. Волынский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 371 с.

**ISBN 978-5-517-98638-2**

**ISBN 978-5-517-98638-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



## Преступленіе и Наказаніе.

### В ъ к у п э.

Поѣздъ шелъ полнымъ ходомъ среди горъ Баваріи, между станціями Розенгеймъ и Куфштейнъ. Душный июльскій день склонился къ вечеру. Въ купэ второго класса на открытыхъ окнахъ гдувались и колыхались шторы. Въ одномъ углу сидѣлъ молодой человѣкъ. Онъ оживленно посматривалъ въ окно, съ восхищеніемъ чужестранца, любующагося удивительнымъ пейзажемъ, и время отъ времени бросалъ нетерпѣливый взглядъ на своего сосѣда, какъ бы желая вызвать его на разговоръ. Но сосѣдъ былъ погруженъ въ чтеніе и не обращалъ на него вниманія. Цѣнга увлекла его, и на его выразительномъ лицѣ отражалась быстрая смѣна пріятныхъ и досадливыхъ ощущеній. Наконецъ, онъ загнулъ страницу, на минуту остановился и сталъ нервно перелистывать почти дочитанную книгу. Молодой человѣкъ съ блѣднымъ лицомъ замѣтилъ названіе книги и взволновался.

— Извините, сказалъ онъ я вижу, что вы читаете Достоевскаго. Я русскій, и мнѣ это очень интересно.

— Да, интересно, въ высшей степени,—отозвался сосѣдъ. Интересно, въ особенности для насъ, пѣмцевъ, въ настоящій моментъ...

Русскій прервалъ его.

— Да, да, Достоевскій—величайшій писатель для современныхъ поколѣній. Не Толстой, а Достоевскій. Толстой—равнина, широкая равнина, какъ Ясная Поляна. Достоевскій—гористая душа, вотъ такая же, какъ эта природа, высокая и глубокая.

Онъ рѣшительнымъ движеніемъ руки указалъ на пейзажъ.

— Совершенно вѣрно,—проговорилъ пѣмецъ съ легкой усмѣнкой.—Высокая и глубокая! Эта книга поразила меня. По вотъ

что замѣчательно: паденіе Достоевскаго значительнѣе, чѣмъ его подъемы.—Онъ ударилъ по книгѣ и продолжалъ съ легкимъ возбужденіемъ:—Видите—вотъ страницца, которую я загнулъ. Съ нея романъ идетъ подъ гору. Какъ вамъ понравится этотъ Раскольниковъ, который кается, бросается на колѣни передъ людьми, отдаетъ себя въ руки полиціи? Вотъ паденіе Достоевскаго! Онъ гениально открылъ картину освобождающейся личности, признавъ за нею право на преступленіе, но дальше онъ не пошелъ. Въ немъ не хватило силъ довершить психологію великаго человѣка, и онъ кинулся на колѣни передъ традиціонной моралью и устарѣвшими преданіями. Какъ это ни странно сказать, Достоевскій ударился въ банальность!

Русскій уже давно хотѣлъ перебить своего собесѣдника, который говорилъ методически и плавно. Онъ не выдержалъ и такъ стремительно повернулся на мѣстѣ, что изъ его бокового кармана выпала небольшая книга, „Исповѣдь блаженнаго Августина“, въ старинномъ французскомъ переводѣ. Онъ не замѣтилъ этого и заговорилъ быстро, съ ѣдкой насмѣшкой въ голосѣ:

— Будьте безпощадны, идите до конца. Вы коснулись банальности не одного только Достоевскаго. Это банальность всего русскаго народа, всей Россіи, не той полунинтеллигентной Россіи, которая шумитъ газетными статьями, но той Россіи, которая хранитъ глубокое молчаніе. Да, мнѣ кажется, вы коснулись больного нерва всего человѣчества, потому что эта банальность нескоренима изъ человѣческаго сердца.

Нѣмецъ сиялъ очками, протеръ стекла и медленно отвѣтилъ:

— Я не знаю, съ какой точки зрѣнія вы говорите все это. Такіе споры обыкновенно бесплодны...

Русскій разсмѣялся.

— О!—воскликнулъ онъ—мнѣ совершенно все равно, какая это точка зрѣнія. Станемъ на ту точку зрѣнія, которая вамъ удобна. Будемъ говорить хотя-бы съ точки зрѣнія человѣка, который проповѣдуетъ это зло и отрицаетъ состраданіе. Это самая современная точка зрѣнія, не правда ли? Но, спрашивается, къ кому такой человѣкъ обращается со своей проповѣдью? Къ современной душѣ, которая стала чувствительною до безмѣрности и уже пошла по иному пути. Согласитесь, что въ этомъ противорѣчій между новымъ ученіемъ и новой душою есть что-то комическое.

— Это противорѣчіе существовало всегда,—перебилъ нѣмецъ.—Но чѣмъ глубже это противорѣчіе, тѣмъ полезнѣе напоминать людямъ, что нужно немножко ожесточиться. Нѣкоторыя теоріи дѣйствуютъ, какъ лекарство.

Русскій всталъ и снова опустился, съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ.

— Итакъ, вы думаете,—сказалъ онъ,—что мы сидимъ въ поѣздѣ, обреченномъ на крушеніе! Вѣдь ясно, что никакое лѣкарство не побѣдитъ культурнаго разложенія: чувствительность и нѣжность глубоко укореняются въ душѣ современнаго человѣка. Но, можетъ быть, вы говорите, какъ представитель уже не очень молодого культурнаго народа? Что касается Россіи, то она не считаетъ свою чувствительность за болѣзнь. Мнѣ она кажется ея лучшимъ богатствомъ.

Нѣмецъ снисходительно посмотрѣлъ своему собесѣднику въ глаза.

— Однако, обратимся къ Достоевскому. По-вашему, и предразсудки, и мертвыя преданія—тоже богатство?

Въ голосъ его прозвучала нескрываемая проницаемость.

— Я вижу, вы дѣйствительно безпощадны!—заговорилъ русскій.—Вы попрекаете Россію предразсудками и даже намекнули на суетвѣрія, неизбѣжныя при отсутствіи настоящаго просвѣщенія. Конечно, Россія—послѣдняя среди культурныхъ странъ современнаго міра. Русскій человѣкъ ходитъ въ полусубѣлкѣ на выставкѣ европейскаго образованія... Извините меня, но позвольте сказать съ полною откровенностью: та странница, которую вы загнули въ романѣ Достоевскаго и которую вы считаете банальною, кажется мнѣ выраженіемъ самаго высокаго таланта и духовнаго проникновенія. Для васъ банально каяться передъ людьми, открывать душу, а для меня это ничто иное, какъ психологическій экстазъ великаго поэта. Вы сказали: банальность. Но какая странная, какая обаятельная банальность! Выбросить изъ души то, что мучитъ и что оягчаетъ ее, собственнымъ сплани лѣчить себя, не прибѣгая ни къ какимъ искусственнымъ лекарствамъ, отбросить то, что мѣшаетъ идти дальше... Поймите: тотъ, кто собирается въ далекое путешествіе, не тащитъ съ собой грузнаго багажа и предпочитаетъ простую одежду легкой и свободной бѣдности. Не всякій пойметъ русскаго Раскольниковца.

Послѣднія фразы онъ произнесъ тихо, какъ бы погружаясь въ себя, глаза его блуждали по вершинамъ снѣжныхъ горъ.

Нѣмецъ бросилъ на окрестность бѣглый взглядъ, чтобы сообра-

зять, далеко ли до станціи Куфштейнъ. Стало темнѣть. Горы по сторонамъ дороги сходились такъ близко, что казалось, будто поѣздъ врѣзывается въ какое-то непроѣздное ущелье, но вдругъ онъ разступался, открывая широкія свободныя пространства. Извилистыя линіи горизонта трепетали и гдѣ-то впереди вспыхивали и мерцали въ вечернемъ полумракѣ огни приближающагося города. Въ купѣ все еще было душно, но за окномъ вѣялъ прохладный вѣтерокъ, и вечерніе туманы медленно ползли по склонамъ горъ. Долгій крикъ локомотива заставилъ нѣмца подняться. Онъ накинулъ плащъ, присѣлъ на диванъ, наклонился къ собесѣднику и сказалъ:

— Позвольте мнѣ на прощаніе сказать еще нѣсколько словъ. Мнѣ показалось, что вы, русскіе люди, любите считать себя здоровыми по сравненію съ нами, культурными людьми, впадшими въ декадентство. Вы любите считать себя наивными и даже готовы похвалиться этою наивною. Вы полагаете, что ходите на здоровыхъ ногахъ, а мы—на ходуляхъ...—Онъ остановился, нѣсколько измѣнилъ тонъ и вперлъ острый взглядъ въ глаза собесѣдника, который слушалъ его съ величайшимъ вниманіемъ.—Еслибъ это было такъ, культурный европейскій міръ долженъ былъ бы уступить вамъ свое мѣсто, долженъ былъ бы уступить дорогу молодому славянскому варварству. Но я думаю, что вы глубоко ошибаетесь. Молодыя русскія ноги страдаютъ рахитизмомъ. Вы народъ рахитичный, и потому вамъ опасно пускаться въ длинныя путешествія. Вы народъ больной, слабый и культурно безсильный. Вашъ національный герой, Обломовъ, типъ соннаго лѣнтяя. Вы по природѣ антикультурны. Вашъ Пушкинъ кончилъ религіознымъ смпреніемъ, вашъ Гоголь завершилъ свою литературную дѣятельность суевѣрными галлюцинаціями, вашъ Достоевскій портилъ свои лучшія художественныя произведенія эпилептическими припадками въ духѣ русскаго юродства, вашъ Толстой, величайшій эпическій талантъ, потерялъ вкусъ къ жизни, къ искусству... Въ области ума этотъ рахитизмъ имѣетъ свое особое названіе: мистичизмъ, болѣзнь темныхъ чувствъ, ведущихъ борьбу съ яснымъ и свѣтлымъ сознаніемъ.

Русскій съ помертвѣвшимъ лицомъ отодвинулся въ уголъ дивана. Онъ совершенно притихъ, вслушиваясь, вдумываясь. Казалось, онъ медленно приподнималъ въ душѣ что-то большое, тяжелое, неподвижно лежавшее тамъ до сихъ поръ. Онъ началъ спокойно:

— Вы говорите: Толстой потерялъ вкусъ къ жизни. Есть два вкуса въ человѣческой душѣ: вкусъ къ конкретной жизни и вкусъ

къ тайнѣ, которая облакаетъ жизнь. На вершинахъ культуры и образованности люди заглушаютъ въ себѣ одинъ вкусъ ради другого. Когда сознание освѣщаетъ видимыя вещи, придаетъ имъ вполне опредѣленную форму и цвѣтъ, пропадаетъ инстинктъ къ тому, что недоступно воспріятію. не имѣетъ формы, но вѣчно пребываетъ въ темной глубинѣ души. Знаете ли, что сдѣлала для культурнаго человечества Россія? Она лепетала о томъ, для него нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ словъ. Вы изволили сказать, что Достоевскій типиченъ, какъ современный человѣкъ. Однако, если справедливы ваши теоріи, Достоевскій долженъ быть сдать въ архивъ. Но Достоевскій, дѣйствительно, типиченъ, потому что въ немъ живы оба вкуса, въ его душѣ боролись всѣ противорѣчія: Богъ и міръ. Достоевскій типиченъ потому, что онъ скорѣе принялъ бы какое угодно страданіе, чѣмъ отказаться отъ самого себя или ограничивать свою душу въ томъ или въ другомъ направленіи. О Пушкинѣ, Гоголѣ, Толстомъ, въ особенности о Пушкинѣ, этомъ глубокѣй русской литературы, я могъ бы сказать вамъ очень многое, но я вижу—у васъ уже нѣтъ времени выслушивать мои разсужденія, и я протягиваю вамъ мою руку на прощаніе.

Нѣмецъ схватилъ протянутую руку и крѣпко пожалъ ее. Ему сдѣлалось вдругъ невыразимо больно поинуть этого страннаго человѣка, который показался ему сначала комичнымъ. Онъ что-то пробормоталъ въ знакъ сочувствія и удовольствія и выразилъ пожеланіе когда-нибудь съ нимъ встрѣтиться. Поездъ остановился. Онъ направился къ двери купэ, которую шумно распахнулъ кондукторъ, и смѣшался съ толпою на ярко освѣщенной платформѣ.

Русскій остался неподвижно на мѣстѣ. Поездъ унесилъ его дальше и дальше въ темноту ночи. Онъ ѣхалъ въ Вѣну, чтобы отсюда проѣхать въ малокультурную, безправную провинцію, черезъ Кіевъ, гдѣ онъ хотѣлъ видѣть борьбу византійскихъ и европейскихъ началъ въ церковной живописи талантливыхъ русскихъ художниковъ.

1897. Октябрь.

---

## Раскольниковъ.

Я сидѣлъ въ ресторанѣ Палкина за ужиномъ. Недалеко отъ меня вели бесѣду два незнакомыхъ человѣка за столикомъ, который былъ уставленъ опорожненными бутылками. Ужинъ ихъ былъ

оконченъ, и клубы бѣлесватаго сигарнаго дыма расплывались надъ собесѣдниками. Одинъ изъ нихъ былъ средняго возраста, бѣлокурый съ просѣдою, съ густою круглою бородою и усами, пожелтѣвшими отъ куренья. Глаза его разсѣянно бѣгали по сторонамъ, иногда онъ нервно подергивался на стулѣ и, возражая своему собесѣднику, пригнулся грудью къ столу. Другой былъ молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, въ аккуратномъ черномъ сюртукѣ, нѣсколько на распашку, съ рассыпающимися темными волосами, которые онъ часто закидывалъ рукою назадъ. Давая реплику, онъ какъ-то любезно улыбался и съ легкимъ привычнымъ самолюбованіемъ подчеркивалъ отдѣльные слова. Онъ прибѣгалъ къ иностраннымъ терминамъ, которые произносились съ едва уловимымъ наивнымъ удовольствіемъ. И подумалъ, что, вѣроятно, это былъ какой-нибудь начинающій приватъ-доцентъ петербургскаго университета. Когда затихъ долго гудѣвшій органъ, я услышала упоминаніе о моемъ маленькомъ очеркѣ „Въ купѣ“. Я естественно насторожилась.

— Мнѣ кажется, что и нѣмецъ и русскій ошиблись, фактически ошиблись,—говорилъ молодой человѣкъ:—Раскольниковъ совѣмъ къ покаянью. Онъ просто былъ выбитъ изъ колеи, и все, что онъ дѣлаетъ, подъ конецъ романа, до эпилога, не больше, какъ жертва собственными идеями окружающей его, довольно-таки пошлой средѣ. Онъ оправдалъ свои убѣжденія яркимъ поступкомъ, и затѣмъ онъ падаетъ, какъ человѣкъ, не имѣющій нервныхъ силъ остаться работникомъ. Въ мысляхъ онъ себя не мѣняетъ.

Онъ затянулся дымомъ, бросилъ бѣглый взглядъ на сосѣдніе столики и затѣмъ продолжалъ, нѣсколько повысивъ голосъ:

— Я могу говорить объ этомъ предметѣ, какъ на экзаменѣ. Я нарочно просмотрѣлъ всѣ сцены романа, относящіяся къ такъ называемому покаянію Раскольникова. И вотъ, повторяю вамъ: авторъ очерка глубоко ошибся. Раскольниковъ до конца твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ. За минуту передъ покаяніемъ онъ говоритъ Сонѣ: „Я сейчасъ иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя“. Вы видите, онъ не знаетъ, для чего ему предавать себя полиціи. То ли это настроеніе, въ какомъ человѣкъ можетъ искренно покаяться? Теперь, смотрите дальше. Соня говоритъ Раскольникову, что покаяніемъ онъ смоеетъ половину своего преступленія. И вотъ Раскольниковъ, почти взбѣсившись отъ этого слова, восклицаетъ: „Преступленіе? Какое преступленіе? То, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу,

илкому ненужную, которую убить—сорокъ грѣховъ простять, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, и это преступленіе?.. Какъ вы это поймете? Онъ убилъ—по своему неизмѣнному убѣжденію—какую-то вошь, которую надо убить. Онъ заступился за бѣдняковъ противъ вампира, противъ соціальнаго эксплуататора. Я такъ понимаю Раскольниковъ и думаю, что иначе его понять нельзя. Это—протестантъ, непреклонный, хотя и надающій отъ патпекъ грубыхъ факторовъ общественнаго регресса. И онъ самъ на этотъ счетъ не обманывается. Онъ говоритъ о своемъ злосчастномъ покаяніи, о малодушіи, какъ о поступкѣ, который можно объяснить только его бездарностью. Вотъ, что я думаю объ этомъ предметѣ, Василій Михайловичъ.

Василій Михайловичъ довольно долго поспатривалъ на молодого говоруна, съ лукавымъ выраженіемъ въ прищуренныхъ глазахъ. Онъ, повидному, не торопился со своимъ возраженіемъ и ждалъ, пока собесѣдникъ не выскажется до конца. Теперь настала его очередь.

— Такъ, по вашему, Раскольниковъ—это типъ протестанта, изъ новыхъ въ свое время теченій, и, говоря вашими словами, убѣжденный ратоборець общественнаго прогресса? Вотъ какъ вы его понимаете. Достоевскій представилъ либеральнаго героя, который отъ начала до конца находится въ разладѣ съ косою толпою? Ничего другого вы не отыскали въ романи относительно Раскольника. Извините-сь, я съ вами не согласенъ. Раскольниковъ—человѣкъ, который мечталъ сдѣлаться Наполеономъ, хотъ, конечно, не могъ имъ сдѣлаться. Вы забыли статью Раскольника о томъ, что великимъ людямъ все позволено. Вы не замѣтили одного очень важнаго слова: Раскольниковъ хотѣлъ о с ѣ л п т ь с я, о з л п т ь с я. Чувствуете вы, какія тутъ открываются глубины? Онъ некалъ въ себѣ гордости, права на власть, былъ нетерпѣливъ—вотъ какія въ немъ черточки. Онъ героемъ хотѣлъ сдѣлаться,—понимаете, не подвижникомъ протестантомъ, а героемъ, въ самоповѣйшемъ смыслѣ этого слова. Тутъ, за много лѣтъ, теоріями Ницше вѣтеть, а не тургеневскою „Новью“. Достоевскій, какъ никто другой опередилъ свою эпоху и далъ образчикъ чпстѣйшаго русскаго демонизма, который онъ измѣрилъ до глубины.

— Ну, все равно,—перебилъ молодой человѣкъ.—Пусть Раскольниковъ хотъ демоншетъ, объ этомъ не будемъ спорить. Все-таки, я правъ, говоря, что Раскольниковъ вовсе и не покаялся. Согласитесь, вѣдь не важно для такой натуры, пошелъ онъ или не по-

шелъ признаваться въ полицію. Главное—это то, что онъ думаетъ, говорить: „я не знаю, для чего я пду предавать себя“.

— Извините-съ, для меня въ этихъ словахъ Раскольниковъ заключается великій смыслъ. Онъ не знаетъ, зачѣмъ идетъ предавать себя—да, да! Онъ с а м ъ не знаетъ. Онъ, какъ невольникъ, идетъ на свое покаяніе. Но въ какомъ смыслѣ невольникъ? Подумать только, какъ глубоко проникъ въ душу человѣческую Достоевскій. Человѣкъ съ яркими убѣжденіями, почти фанатикъ, молодой писатель съ талантомъ, Раскольниковъ кончаетъ одну полосу своей жизни поступкомъ, котораго самъ не можетъ понять. Онъ не властенъ надъ собою. Сознаніемъ онъ презираетъ свое малодушіе, свою бездарность, какъ онъ выражается, а что-то болѣе сильное, чѣмъ сознаніе, толкаетъ его къ самообличенію и страданію. Онъ убилъ вошь никому негодную, и все-таки, онъ долженъ искупить страданіемъ какую-то великую ошибку. Ему никогда не сдѣлаться Наполеономъ, не потому, что Наполеонъ былъ слишкомъ великъ, а онъ слишкомъ малъ—правду сказать, все-то солдатское величіе Наполеона миѣ кажется грошовымъ,—а потому, что въ душѣ Раскольниковъ жила добрая божеская стихія, которая борется противъ всякой злости, противъ убійства. Величіе Наполеона пройдетъ, какъ дымъ, потому что можно было бы доказать, что этотъ корсикаецъ не проявилъ въ своей дѣятельности высшаго экстаза, что мечты его были суетой. А Раскольниковъ великъ и силенъ въ своей слабости. Онъ, дѣйствительно, покался, хотя и самъ не зналъ для чего. Именно въ такомъ покаяніи разрѣшена художникомъ глубокая задача. Онъ покался невольно, бессознательно, по наптію внутреннихъ импульсовъ, которые отчетливо воплощены въ словахъ Сони. Это настоящее, важное покаяніе: сознаніе могло бы опять измѣниться, ухватиться за какую-нибудь новую ошибочную идею, но бессознательная душа его, оставаясь все время неизмѣнною, не могла иначе излѣчить Раскольника. Она знала, для чего и почему ему нужно было принять на себя страданіе. Она толкала его, противъ его сознательной воли, къ освобожденію и возрожденію.

— Позвольте, Василій Михайловичъ,—вы сказали, что бессознательная душа неизмѣнно управляла Раскольниковымъ, ведя его къ освобожденію. Это,—по вашему,—прогрессивное начало въ его жизни. А моментъ убійства? Вѣдь бессознательная душа и тогда была въ немъ. Выходитъ какъ-то, что Богъ заодно съ убійцею...

Дальнѣйшія слова его заглушились бравурными звуками органа, который былъ заведенъ лакеемъ на увертюру изъ „Карменъ“. Разговоръ моихъ сосѣдей на время для меня пропалъ. Я сталъ смотрѣть въ публику. Нѣкоторые уже уходили. Навстрѣчу уходящимъ прошли черезъ залу нѣсколько пзвѣстныхъ литературныхъ дятелей. Судьба сводила и разводила меня съ ними въ случайныхъ журнальныхъ встрѣчахъ, которыя въ Россіи разрѣшаются, по-чѣму-то, во-первыхъ, тѣмъ, что по-человѣчески знакомые полемисты перестаютъ кланяться другъ другу, и, во-вторыхъ, тѣмъ, что самая полемика, утерпвая всякіе идейные корни, становится какою-то „вселенской смазью“ по открытымъ лицамъ противопиковъ, передъ оторопѣвшею публикою. Мелькнула фигура журнальнаго критика, съ побѣлѣвшей волнистой шевелюрой, съ выразительнымъ лицомъ: что-то вспомнилось, давнишнее, человѣческое, вспомнилось безъ малѣйшей внутренней горечи и протеста, и тутъ же затуманилось. Прошелъ газетный критикъ, который наивно считаетъ себя опаснымъ крокодиломъ въ мутномъ озерѣ современной российской словесности, но который, въ дѣйствительности, будучи отъ природы неглупымъ, не смѣетъ на своей совѣсти ни одной серьезной литературной работы, ничего, кромѣ поверхностно-хлесткихъ фельетоновъ и стиховъ среднего достоинства. Темно-рыжая борода, тараканьи усы, которые онъ разглаживаетъ и вытягиваетъ двумя пальцами, небольшіе тусклые глаза, внѣшній видъ, не отличающій настоящей, внутренней злобы: что-то даже довольно добродушное. Въ эту минуту, подъ бравурный напѣвъ „Карменъ“, самые его фельетоны показались мнѣ забавными и водевильно-веселыми. Затѣмъ проплыла вялая фигура съ жидкими локончиками еще одного пзвѣстнаго критика, а за нимъ, догоняя его, прошелъ молодой журналистъ, съ приподнятыми плечами и замашками расторопнаго банковскаго чиновника. Вѣроятно, всѣ эти люди пришли изъ театра или какого-нибудь общаго литературнаго собранія. Я подумалъ: вотъ представители петербургской журнальной интеллигенціи. Живой матеріалъ для скорбной и мучительно вдохновенной сатиры Достоевскаго. Мнѣ показалось, что эти люди, съ разными дарованиями, съ большими и мелкими страстями, съ идейными намереніями, но безъ фантастически-честной логики, не должны ни въ комъ возбуждать никакого озлобленія. Подъ мутною нѣною журнальныхъ распрій и газетныхъ перебранокъ, не переставая, струится чистый, хотя и скудный, въ послѣднее время, потокъ художественной русской литературы.

Органъ смолкъ. Моп сосѣди оживленнѣе прежняго продолжали бесѣду. Василій Михайловичъ говорилъ, сильно разгорѣвшись, еzbollahанно, смотря въ лицо молодому оппоненту нѣсколько покрасившимъ глазами.

— ...Да, бессознательная душа не бездѣйствовала, когда Раскольниковъ совершалъ убійство. Это намѣчено у Достоевскаго съ поразительною геніальностью, помнитса, въ какпхъ-то нѣсколькихъ строкахъ. Раскольниковъ вынимаетъ топоръ, взмахиваетъ имъ обѣими руками и почти машинально, безъ успія опускаетъ его на голову старухѣ обухомъ. Помните, Достоевскій говоритъ: „сплы ею тутъ какъ бы не было“. Это чрезвычайно важно. Раскольниковъ убиваетъ эту несчастную легистраторшу, опираясь только на свое сознание, во имя сознательной мысли. Весь его духъ въ этомъ не участвуетъ, и вотъ почему въ дѣйствіяхъ его нѣтъ ни силы, ни увѣренности. Онъ ударяетъ старуху машинально, именно такъ, какъ это бываетъ въ гипнозѣ, когда внимание сосредоточено на одномъ предметѣ, а душа бездѣйствуетъ. „Но какъ только онъ разъ опустилъ топоръ, говоритъ Достоевскій, тутъ и родилась въ немъ сла“. Совершенно понятно, удивительная точность въ изображеніи именно такого, идейнаго убійства, при бездѣйствіи бессознательныхъ инстинктовъ и препятствіяхъ нѣжнаго, чуткаго -сердца. За первымъ ударомъ въ тѣлѣ его развивается грубая сла, рядъ рефлексовъ, которые заставляютъ его докончить начатое дѣло. Душа въ этой работѣ нѣтъ, и она совершается по механическимъ законамъ. Инстинкты не помогаютъ Раскольникову, потому что этихъ, разрушительныхъ, инстинктовъ нѣтъ въ его натурѣ. Дальнѣйшія его дѣйствія становятся безтолковыми, безпорядочными. Имъ обладаетъ расцѣянность и задумчивость. Онъ забываетъ о главномъ и приплѣпляется къ мелочамъ. Иногда ему кажется, что онъ сходитъ съ ума. Все это страшно понятно, и никто лучше Достоевскаго не могъ показать намъ, какъ беспильно сознание, когда ему не помогаетъ бессознательная душа, когда ему сопротивляются нравственные инстинкты,.. Замѣьте, какъ онъ неисчерпаемъ въ пониманіи сложной человѣческой природы. Когда въ комнату неожиданно вошла Лизавета, Раскольниковъ бросился на нее съ топоромъ: онъ дѣйствуетъ теперь съ силою, порывисто и энергично, потому что ему стала угрожать опасность. Теперь ему помогаютъ самооборонительные инстинкты, которые изъ другихъ темныхъ инстинктовъ наиболее живучи въ человѣкѣ. Когда, послѣ двухъ убійствъ, Раскольниковъ видитъ новую опасность, поднимающагося